

[Это] вопрос вопросов. Леон Оников

Можно ли было реформировать Советскую систему?¹

Стивен Коэн

Из всех российских «проклятых» вопросов XX века один продолжает терзать нацию и в XXI веке: Почему погиб Советский Союз, или, как иногда называют его националисты, «Великая Россия»? С декабря 1991 г. российские ученые, политики и общественность не перестают спорить по этому вопросу, в то время как у большинства западных комментаторов уже готов ответ: Советская система была нерепформируема и, следовательно, обречена из-за присущих ей неисправимых дефектов.

Но, учитывая те исторические перемены в сторону демократии и рынка, которые произошли за шесть лет правления Михаила Горбачева в 1985-1991 гг. и которые выходили далеко за рамки простой либерализации, допускаемой самыми «оптимистичными» прогнозами некоторых советологов, была ли она действительно нерепформируемой? Разумеется, в то время такой единодушной уверенности в этом не было. Западные правительства, включая США, практически до самого конца думали и надеялись, что руководство Горбачева может привести к реформированию Советского Союза. (Я должен подчеркнуть, что дело здесь не в реформаторской роли Горбачева, а в способности системы к фундаментальному изменению.) В то время как сегодня ученые «пессимисты», вслед за большинством сове-

Стивен Коэн — профессор российских исследований в Нью-Йоркском университете и почетный профессор политических наук в Принстонском университете.

тологов, твердят, что советскую систему невозможно было реформировать и, следовательно, Горбачев потерпел поражение, многие исследователи в период перестройки считали само собой разумеющимся, что «системные изменения возможны в советском контексте». Один американский экономист, которому суждено было вскоре стать главным экспертом Белого дома по советским проблемам, выразился даже более выпендренно: «Можно ли реформировать советский социализм? Конечно, можно, и он уже реформируется».

Почему же тогда так много специалистов, принадлежащих к разным поколениям и исповедующих разные научные убеждения, твердят, начиная с 1991 г., что «СССР невозможно было реформировать», что он был «фундаментально, структурно неререформируемым», а выражение «советская реформа» вообще есть «противоречие в понятии, вроде горячего снега», и, следовательно, Горбачев просто «не сумел реформировать неререформируемое»? И еще более непонятно, почему они так настойчиво утверждают, словно не желая возвращаться к этой теме, что на этот глобальный исторический вопрос «уже дан ответ»? Понять их мотивацию непросто еще и потому, что сама формулировка: «врожденная неререформируемость советского коммунизма», — является одной из худших в литературе. В некоторых случаях объяснение являет собой простую тавтологию, как у того французского советолога, который не представлял, что «советская система может реформировать себя во что-то принципиально иное, не перестав при этом быть советской системой».

На самом деле, не существует ни теоретических, ни концептуальных оснований утверждать, что советская система была неререформируемой и, значит, как стало принято говорить, «обреченной» с самого начала горбачевских реформ. Если вопрос сформулировать должным образом, без традиционного идеологического подхода, и тщательно изучить в свете тех изменений, которые действительно произошли, особенно в период 1985-90 гг., то есть, до того как кризисы дестабилизировали страну, то окажется, что она была замечательно реформируемой. Но для того чтобы задать вопрос правильно, нам нужно точно представлять себе, что такое реформа и что такое советская система.

В универсальном понимании, реформа есть не просто изменение, но изменение, которое ведет к улучшению жизни людей, обычно за счет расширения рамок их политической или экономической свободы, или и того, и другого вместе. Это не революция или тотальная трансформация существующего порядка, а постепенные, пошаговые улучшения в широком историческом, институциональном и культурном измерении системы. Ут-

верждения, что «настоящая реформа» должна быть быстрой и полной, которые так часто можно встретить в работах советологов, вычеркивают из разряда «настоящих», к примеру, исторически значимое, но постепенное, в течение десятилетий, расширение избирательных, гражданских и социальных прав в Великобритании и США, а также американский «новый курс» 1930-х гг. Следует, к тому же, помнить, что реформа не всегда и не обязательно означает демократизацию и маркетизацию, хотя в настоящее время это все чаще оказывается именно так.

В таком понимании исторически неверно утверждать, что советская система была неререформируемой, что у нее были только «неудачные попытки реформ». Новая экономическая политика в 1920-е годы существенно расширила экономическую и, в меньшей степени, политическую свободу большинства граждан СССР, а политика Хрущева привела к ряду положительных и долговременных изменений в 1950-60-е годы. Многие западные специалисты явно полагают, что это был предел возможностей советских реформ, указывая на то, что даже проповедуемый Горбачевым демократический социализм был уже не совместим с оправдывающими систему антидемократическими историческими иконами — Октябрьской революцией и Лениным.

Но этому утверждению также не хватает сравнительной перспективы. Французы и американцы со временем изменили образы своих национальных революций, с тем чтобы они соответствовали современным ценностям. Почему же российская демократическая нация не могла бы со временем простить Ленина и других основателей советской системы, которые все-таки были приверженцами демократии, хотя и подавляли ее? Простить как продукт своей эпохи, сложившейся под влиянием беспрецедентного до 1914 г. насилия Первой мировой войны — ведь простили же американцы своим отцам-основателям их рабов. (Соединенными Штатами почти 50 лет руководили президенты-рабовладельцы, а не имевшие рабов сторонники рабства — и того больше; труд рабов использовался даже при строительстве Капитолия и Белого дома). На самом деле, подобное переосмысление роли Ленина и Октября к концу 1980-х гг. уже шло в стране полным ходом — как часть более широкого процесса «покаяния».

Для точного определения понятия «советская система» сначала, как и в случае с реформой, нужно отринуть все произвольные и неточные. Наиболее распространенным из них является отождествление советской системы с «коммунизмом», как, например, в известной аксиоме: «коммунизм невозможно было реформировать». Фигурирующий здесь коммунизм есть недоступное восприятию, ничего не значащее, выхолощенное аналитическое понятие. Ни один из советских лидеров никогда не заявлял, что та-

кой коммунизм когда-нибудь существовал в его стране или где-либо еще, а только социализм — впрочем, последний советский лидер сомневался даже в этом. «Коммунистический» было попросту название, данное официальной идеологии, правящей партии и заявленной цели; значение этого термина зависело от конкретного руководства и менялось столь часто и столь существенно, что могло означать практически что угодно. Так, Горбачев в 1990 г. решил, что оно означает «быть последовательно демократическим и ставить общие ценности превыше всего». Западные обозреватели могут не понимать разницы между абстрактным «коммунизмом» и полнотой жизни реальной советской системы, или «советизма», но советским (а впоследствии российским) гражданам было ясно, и в этом они были солидарны с Горбачевым, что «коммунизм это не Советский Союз».

Чтобы дать точное определение и оценку советской системе, ее, как любую другую, нужно рассматривать не как абстракцию или идеологический артефакт, а с точки зрения ее работающих компонентов, в особенности базовых институтов и практик. Таковыми в западной советологической литературе принято считать шесть: официальная и непреложная идеология; особо авторитарная правящая Коммунистическая партия; партийная диктатура во всем, что имеет отношение к политике, с опорой на силу политической полиции; общенациональная пирамида псевдодемократических Советов; монополистический контроль государства над экономикой и всей значимой собственностью; многонациональная федерация (или Союз) республик, являвшаяся в действительности унитарным государством, управляемым из Москвы.

Спрашивать, была ли реформируема советская система, значит спрашивать, можно ли было реформировать эти ее базовые компоненты или какие-то из них. Если не считать, как некоторые, что система была неделимым «монолитом» или что Коммунистическая партия была ее главным и основным элементом, глупо было бы полагать, что трансформация или замена некоторых компонентов привели бы к тому, что система перестала быть советской. Подобный логический подход не применяется в отношении реформ в других системах, и советская история также не дает для него оснований. Первооснова системы, Советы образца 1917 г., были избранными народом, многопартийными органами и лишь позже превратились во что-то еще. В экономике до 1930-х гг. не было монополистического контроля и существовал рынок. А когда сталинский массовый террор, бывший в течение 25 лет основополагающим признаком системы, закончился в 1950-е гг., никто не сомневался, что система по-прежнему осталась советской.

Советские концепции необходимых и приемлемых реформ внутри системы, возникшие к 1990 г., были весьма разнообразны, однако многие

сторонники Горбачева и Ельцина пришли к убеждению, что они могут и должны включать в себя многопартийную демократию, рыночную экономику со смешанной формой собственности, государственной и частной, и подлинную федерацию республик. Эти современные убеждения и политическая история страны показывают, что для того чтобы реформированная система осталась советской или считалась таковой, в ней должны были сохраниться, в той или иной форме, четыре основных элемента: национальная (хотя необязательно четко оформленная и всеми разделяемая) социалистическая идея, которая продолжала бы чтить память о событиях и людях 1917 г. и том изначальном ленинском движении, которое до 1918 г. называло себя социал-демократическим; система Советов как воплощение институциональной преемственности и конституционный источник политического суверенитета; государственная форма собственности в сочетании с частной в рыночной экономике и пакет социальных прав и гарантий — достаточно большой, чтобы экономика могла именоваться социалистической и при этом напоминала государство благосостояния (*welfare state*) в западном духе; союз России, по крайней мере, с несколькими советскими республиками, которых изначально было четыре, и лишь со временем их число выросло до пятнадцати.

Какие же из главных компонентов старой советской системы были действительно реформированы при Горбачеве?

Что касается официальной идеологии, то здесь едва ли могут быть сомнения. К началу 1990-х гг. десятилетиями царившие жесткие догмы сталинизма, а затем ленинизма в основном уступили место социал-демократическим и другим прозападным «универсальным» убеждениям, которые мало чем отличались от либерально-демократических. То, что раньше считалось ересью, стало официальной советской идеологией, одобренной недавно избранным Съездом народных депутатов и даже очередным, пусть и не вполне [идеологически] обращенным, съездом компартии. А главное, государственная идеология больше не являлась обязательной даже в таких некогда священных областях, как образование и официальная коммунистическая печать. «Плюрализм» убеждений, в том числе религиозных, был отныне официальным лозунгом момента и все более явной реальностью.

Следующей и еще более значительной реформой стала ликвидация монополии Коммунистической партии в политической жизни, особенно в таких областях, как общественные дискуссии, подбор руководящих кадров и разработка политики. Масштаб этих демократических изменений был настолько велик уже к 1990 г., когда в результате политики Горбачева было фактически покончено с цензурой, утвердились свободные выборы,

свобода политических организаций и создан настоящий парламент, что некоторые западные ученые назвали их «революцией» внутри системы. Сложившаяся при Ленине диктатура партии и решающая роль, которую играли ее официальные представители на всех уровнях советской системы, в течение 70 лет (за исключением, по понятным причинам, периода сталинского террора) были краеугольным камнем советской политики. В «командно-административной системе», доставшейся в наследство Горбачеву, общенациональный партийный аппарат был главнокомандующим и всемогущим администратором. Всего за пять лет картина коренным образом изменилась: система перестала быть ленинистской или, как сказали бы некоторые, коммунистической.

Это обобщение, однако, нуждается в уточнении. В такой огромной стране с ее культурным разнообразием политические реформы, родившиеся в Москве, были обречены иметь самые разные результаты — от быстрой демократизации в российских столичных городах и западных республиках Балтии до менее заметных изменений в среднеазиатских партийных диктатурах. Кроме того, уход Коммунистической партии с политической сцены, даже там, где демократизация достигла значительных успехов, не был полным и окончательным. Насчитывавшая несколько миллионов членов, имевшая отделения практически в каждом учреждении и на каждом предприятии, обладавшая длительным опытом контроля над военными и другими силовыми структурами, огромными финансовыми ресурсами и привычным влиянием на граждан, — партия оставалась самой внушительной политической организацией в стране. КГБ также не претерпел заметных изменений и оставался практически бесконтрольным, хотя политические заключенные были выпущены на свободу, права человека набирали вес, а сами органы безопасности сделались предметом все более пристального и растущего общественного интереса.

Тем не менее, процесс перераспределения власти, долгое время принадлежавшей КПСС, между парламентом, новым институтом президентства и отныне подлинно выборными Советами на местах зашел достаточно далеко. Горбачев не преувеличивал, когда заявил на съезде партии в 1990 г.: «Пришел конец монополии КПСС на власть и управление». Процесс демополизации покончил еще с одной старой чертой советской системы — псевдодемократической политикой. Широкий и разноголосый политический спектр, загнанный прежде в подполье, теперь пользовался почти полной свободой слова. Организованная оппозиция, десятки потенциальных партий, массовые демонстрации, забастовки, бесцензурные публикации, — все то, что подавлялось и запрещалось в течение 70 лет, было узаконено и быстрыми темпами распространялось по стране. И опять Горбачев

был недалек от истины, когда с гордостью заметил, что Советский Союз внезапно превратился в «самое политизированное общество в мире».

Россия и прежде бывала глубоко политизирована (судьбоносно — в 1917 г.), но никогда еще этот процесс не происходил при поддержке правящего режима или во благо конституционного правления. Конституционализм и законность вообще были характерными чертами политических реформ Горбачева. Законов и даже конституций в России было немало (как до 1917 г., так и после), но чего действительно не было, так это конституционного порядка и реально ограниченной законом власти, которая традиционно концентрировалась в руках верховного руководства и осуществлялась посредством бюрократических указов и постановлений (по некоторым подсчетам, в 1988 г. в ходу было около миллиона министерских постановлений).

В этом состоит уникальная суть политических реформ Горбачева. Весь процесс перехода страны от диктатуры к неоперившейся демократии, основанный на отделении бывшего всевластия Коммунистической партии от «социалистической системы сдержек и противовесов», проходил в рамках существующей и постепенно совершенствующейся конституционной процедуры. Культура закона и политические традиции, необходимые для демократического правления, не могли возникнуть в одночасье, но начало было положено. Например, в сентябре 1990 г. новоиспеченный Конституционный суд отменил один из первых президентских указов Горбачева, и тот был вынужден подчиниться.

Почему же, при всех этих очевидных успехах, так часто говорят о провале политических реформ Горбачева? Ответ, который обычно следует за этим, заключается в том, что КПСС, этот оплот старой системы, якобы оказалась неререформируемой. Это обобщение дважды неточно. Во-первых, оно приравнивает советскую систему в целом к КПСС, так что выходит, будто первое не могло существовать без второго, а во-вторых, оно рассматривает партию как единый, однородный организм.

К концу 1980-х гг. КПСС представляла собой огромную сферу господства (*vast realm*), состоявшую из четырех связанных между собой, но при этом существенно различных общностей: относительно небольшого руководящего органа — пресловутого аппарата, диктаторски контролирующего всю партию и, хотя и все меньше, собственно бюрократическое государство; назначаемой аппаратом, но более многочисленной и разнообразной номенклатуры, представители которой занимали все важные посты в советской системе; примерно 19 миллионов рядовых членов, многие из которых вступили в партию по карьерным соображениям или из конформизма; и, как минимум, двух скрывающихся в тени тайно-политических партий — рефор-

мистской и консервативной, зародившихся в «монолитной» однопартийной системе в 1950-е гг. Естественно, что все эти компоненты КПСС по-разному реагировали на реформы Горбачева.

Был или не был реформируем партийный аппарат, а это около 1800 функционеров в центральных органах в Москве и еще несколько сотен тысяч на других уровнях системы, — едва ли имело значение, поскольку к 1990 г., благодаря политике Горбачева, он был лишен большинства своих прав и привилегий. (Особенно показательной в этой связи было растущая оппозиция реформам со стороны Егора Лигачева — главного представителя партаппарата и некогда союзника Горбачева). Главный штаб аппарата, Секретариат ЦК, фактически прекратил свою деятельность, партийные комитеты в министерствах были распущены или утратили влияние, а на более низком государственном уровне их власть перешла в руки избираемых Советов. В провинции этот процесс шел гораздо медленнее; толчком послужило обретение им официального статуса, когда полномочия, десятилетиями осуществляемые ЦК и Политбюро, торжественно были переданы новому советскому парламенту и президенту. Контроль и влияние аппарата существенно снизились даже внутри самой партии, а в 1990 г. его глава, Генеральный секретарь, прежде выбираемый тайно партийными олигархами из своего числа, впервые был избран открыто на общесоюзном съезде партии.

Возможно, Горбачев и продолжал бояться «этой паршивой взбесившейся собаки», но аппарат, по сути, обернулся бумажным тигром. Столкнувшись с избирательными реформами, он пребывал «в состоянии психологического шока» и «в полной растерянности». По мере сужения его роли в системе и распада организационных структур, его представители пытались предпринимать какие-то шаги против Горбачева, но особого эффекта это не имело. Основные антиреформенные силы были сосредоточены в других местах: в экономических министерствах, в армии, в КГБ и даже в парламенте. Как ничтожно мало значил теперь партийный аппарат, со всем драматизмом продемонстрировали августовские события 1991 г. Большинство его центральных и региональных функционеров поддержало переворот, направленный против Горбачева, но, вопреки распространенному мнению на Западе, аппарат не организовывал переворот и, возможно, даже не знал о нем заранее.

В отличие от аппарата, порожденный им класс коммунистической номенклатуры в большинстве своем пережил Советский Союз. Уже один этот факт обесценивает любые простые обобщения относительно его приспособляемости. Среди миллионов номенклатурных работников по всему Союзу было много представителей административной, экономической,

культурной и других профессиональных элит, а значит, значительная часть его среднего класса. Этот большой слой советского общества, хотя и состоял номинально сплошь из членов Коммунистической партии и на том основании был без разбора заклеямен, имел, как и средний класс в других странах, внутреннее деление: по привилегиям, профессии, возрасту, образованию, географическому положению и политическим взглядам.

Поэтому говорить о неререформируемости партийно-государственной номенклатуры в целом было бы бессмысленно. Даже представители ее верхушки абсолютно по-разному отреагировали на горбачевские реформы и разошлись в разных направлениях. В 1990 г. их можно было встретить в любой части политического спектра, от левых до правых. Многие оказались в авангарде борьбы с перестройкой. Но и почти все ведущие советские и постсоветские реформаторы 1980-х и 1990-х годов также вышли из номенклатурного класса, в том числе сам Михаил Горбачев, Борис Ельцин и многие из их окружения. После 1991 г. выходцы из старой советской номенклатуры составили основу политической, административной и собственнической элиты посткоммунистической России; некоторые из них оказались даже среди тех, кого сегодня назвали бы «радикальными реформаторами». А представитель ее более молодого поколения, Владимир Путин, стал впоследствии первым президентом России в XXI веке.

Еще более неправомерно называть «неререформируемыми» 19 миллионов рядовых членов Коммунистической партии. Большинство из них по своему положению в обществе и политическим взглядам мало чем отличалось от беспартийных советских граждан, и так же по-разному они вели себя в перестроечные годы. К середине 1991 г. около 4 миллионов человек вышли из партии, в основном из-за того, что членство утратило всякий смысл. Среди оставшихся было «молчаливое большинство», но были и активные сторонники политики Горбачева, которые поддержали его с самого начала и вели на местах борьбу против партаппарата. Многие другие стали социальной базой для антиперестроечного движения, формирующегося внутри партии и за ее пределами.

Действительно важным вопросом по поводу реформируемости Коммунистической партии и в связи с горбачевской политикой демократизации является вопрос о том, могла ли из КПСС или на ее основе возникнуть полноценная, конкурентоспособная парламентская партия как часть реформированной советской системы. То, что мы называем широким понятием «партия», в разные периоды своей 80-летней истории означало разные вещи: подпольное движение в царской России; успешная, пользующаяся поддержкой избирателей организация в революционном 1917 г.; диктатура, но с элементами открытой фракционной борьбы по вопросам полити-

ки и власти в годы НЭПа; изрядно поредевшая, запуганная бюрократия в сталинские 1930-е; милитаризованная структура, инструмент борьбы с немецкими захватчиками в годы войны; набирающий силу орган олигархического правления в послесталинские 1950-60-е гг. и неотъемлемая часть бюрократической государственной системы к началу 1980-х гг.

И теперь, после всех этих трансформаций, Горбачеву понадобилась еще одна: чтобы партия или значительная часть ее стала «нормальной политической организацией», способной побеждать в выборах «строго в рамках демократического процесса». Достижение этой цели повлекло за собой последствия, которые он, возможно, не вполне предвидел, но, в конце концов, принял их. Это означало политизацию (или ре-политизацию) советской компартии, что Горбачев и начал делать в 1987 г., когда призвал к демократизации КПСС, сделавшей возможным возникновение и развитие в ее недрах зародышей других, возможно, оппозиционных партий. Это означало конец мифа о «монолитном единстве» и риск вступления в «эру раскола». Неожиданно прерванный событиями конца 1991 г., процесс этот, тем не менее, протекал бурно и стремительно.

Уже в начале 1988 г. раскол в партии зашел так далеко, что вылился в беспрецедентную полемику между двумя наиболее влиятельными периодическими изданиями ЦК, «Правдой» и «Советской Россией». Защищавшая фундаменталистские, в том числе неосталинистские «принципы», «Советская Россия» опубликовала большую статью, содержащую резкий протест против перестройки Горбачева. «Правда» ответила не менее решительной контратакой в защиту антисталинистской и демократической реформы. На всесоюзной партийной конференции, состоявшейся два месяца спустя, делегаты впервые после партийных дискуссий 1920-х гг. публично спорили между собой. Заседания ЦК превратились теперь «в поле битвы между реформаторами и консерваторами». В марте 1989 г. коммунисты по всей стране боролись друг с другом за делегатские мандаты на Съезд народных депутатов. И хотя 87% делегатов съезда были членами одной и той же партии, политические взгляды их были настолько различны, что Горбачев заявил, что единой партийной линии больше не существует.

К 1990 г. углубляющийся раскол принял территориально-организационные формы, когда региональные партии начали выпрыгивать из КПСС, как матрешки. Три прибалтийских компартии вышли из КПСС, чтобы попытаться конкурировать с другими политическими силами внутри своих республик, все больше оказывавшихся во власти национализма. Между тем, аппарат и другие консерваторы вынудили Горбачева пойти на создание Российской Коммунистической партии — номинально в составе КПСС, но фактически под их контролем. Формально объединяющая более 60% всех

советских коммунистов, РКП тоже практически сразу раскололась, когда сторонники реформ создали свою конкурирующую организацию — Демократическую партию коммунистов России.

Все стороны отныне понимали, что КПСС «беременна» многопартийностью и что политический спектр нарождающихся партий простирается «от анархистов до монархистов». Никто не знал, сколько партий может появиться на свет (Горбачев полагал, что только среди 412 членов ЦК в 1991 г. было «две, три или четыре» партии), но только две, крупнейшие из них, имели значение: выступавшее за реформы и вплотную приблизившееся к социал-демократии радикально-перестроечное крыло КПСС во главе с Горбачевым и сплав различных консервативных и неосталинистских сил, отвергавших реформы и сохранявших преданность традиционным коммунистическим убеждениям и устоям.

Возможность формального «размежевания» и «расставания» всюду обсуждалась уже в 1990 г., но тогда ни одна из сторон не была к этому готова. У консерваторов не было достаточно сильного лидера, способного объединить их в масштабах всей страны, и они опасались Ельцина с его растущим после выхода из КПСС в середине 1990 г. влиянием — почти так же (но не совсем), как они ненавидели Горбачева. Некоторые из советников Горбачева подталкивали его выйти вместе со своими сторонниками из КПСС или исключить из нее оппозиционеров и создать таким образом откровенно социал-демократическое движение, но лидер КПСС колебался, как всякий лидер, не желая раскалывать свою партию, и боялся лишиться союзного партийного аппарата с его связями с органами безопасности и его противниками. Только летом 1991 г. стороны «созрели» для официального «развода». Он должен был состояться на внеочередном съезде партии в ноябре-декабре, но пал очередной жертвой августовского путча.

Раскол гигантской Коммунистической партии на две оппозиционных, как еще в 1985 г. тайно предлагал (и до сих пор в этом убежден) сподвижник Горбачева Александр Яковлев, был бы самым надежным и быстрым способом создания в СССР многопартийной системы, причем более прочной, чем та, что существовала в постсоветской России в начале XXI века. При «цивилизованном разводе», подразумевавшем разное голосование по принципиальным вопросам, круг которых был определен горбачевской социал-демократической программой, стороны разошлись бы, сохранив за собой значительную долю членства, местных организаций, печатных органов и другого «общего имущества» КПСС. Обе партии немедленно стали бы крупнейшими и единственными общенациональными советскими партиями, чье влияние многократно превышало бы влияние дюжины тех «карликовых «партий»», которые испещрили российский политический

ландшафт в последующие годы и которые, во всяком случае, многие из них, едва ли выходили за рамки московских квартир, в которых они были созданы. (Опираясь на данные одного закрытого исследования, Горбачев был уверен, что в новую партию за ним бы последовало, по меньшей мере, 5-7 миллионов членов КПСС).

Нет сомнения и в том, что оба крыла бывшей КПСС стали бы влиятельными структурами, которые могли бы рассчитывать на значительную поддержку избирателей на грядущих выборах как на местном, региональном, так и на общенациональном уровне. В то время, как большинство советских граждан считало Коммунистическую партию виновной во всех прошлых и нынешних бедах, обособившись, обе половины могли бы снять с себя часть ответственности за счет перекалывания ее друг на друга и взаимных обвинений, чем они и так уже занимались. Обе унаследовали бы избирательные преимущества КПСС, как то: организационный опыт, подготовленные кадры, опыт использования СМИ, финансовые ресурсы и даже преданность избирателей. По данным исследований, проведенных в 1990 г., 56% советских граждан не доверяли КПСС, но другим партиям не доверяло еще больше — 81 %, и 34% все еще предпочитали компартию всем остальным. Учитывая растущую поляризацию в обществе, обе производные КПСС имели все шансы наращивать свой электорат.

Избирательная база социал-демократической партии под руководством Горбачева объединила бы миллионы советских граждан, которые желали политических свобод, но при этом предпочитали смешанную или регулируемую рыночную экономику, сохранявшую социальные гарантии граждан и другие элементы старой системы. Скорее всего, туда вошли бы профессиональные и другие слои среднего класса, квалифицированные рабочие, интеллигенция прозападной ориентации и вообще все те, кто остался социалистом, но при этом не считал себя коммунистом. Как показывают результаты выборов в России и в странах Восточной Европы в конце 1980-х --1990-х гг., коммунисты-демократы и бывшие коммунисты — потенциальное ядро социал-демократической партии — оказались вполне способны организовать избирательную кампанию и выиграть выборы.

В этом случае, ретроспективный анализ был бы полезен для выяснения возможных и реальных перспектив. Горбачев не сумел создать или вычленив из КПСС то, что могло бы стать президентской партией, и это было его крупнейшей политической ошибкой. Если бы он воспользовался удобным моментом и сделал это на уже расколовшемся (и, по сути, многопартийном) XXVIII съезде КПСС в июле 1990 г., он не оказался бы в политической изоляции впоследствии, в конце 1990 — начале 1991 г., когда страну охватил кризис, а его популярность резко упала.

Оппоненты Горбачева, ортодоксальные коммунисты, вопреки западной точке зрения, также обладали значительным избирательным потенциалом. Отстаивая идеи «здорового консерватизма», они вполне могли рассчитывать на поддержку миллионов чиновников, заводских рабочих, колхозников, интеллигенции антизападной ориентации и других традиционалистов, обиженных и недовольных горбачевскими политическими и экономическими преобразованиями. Число таких недовольных, непрерывно растущее с 1985 г., должно было только увеличиваться, по мере того как реформы «размывали» социальные гарантии и иные устои. Был у коммунистических консерваторов и еще один «козырь»: государственный или «патриотический» национализм, присущий консервативному коммунизму со времен Сталина, становился все более мощным идеологическим оружием, особенно в России.

Не следует также думать, что антиреформаторское крыло компартии было не способно адаптироваться к демократической политике. После шока и раздражения, которые вызвало у них поражение на выборах на Съезд народных депутатов в марте 1989 г. нескольких десятков «аппаратных» кандидатов, коммунисты-консерваторы начали формировать корпус своих собственных избирателей. К 1990 г. в РСФСР они уже представляли собой крупную, полноправно участвующую в выборах парламентскую партию. Каковы бы ни были их тайные амбиции, в целом коммунисты вели себя вполне конституционно, даже тогда, когда на выборах главы исполнительной власти в республике победил Ельцин, и компартия впервые в советской истории оказалась оппозиционной партией.

Об избирательном потенциале горбачевского крыла КПСС, которое рассеялось вместе с роспуском Союза, можно только догадываться, но зато его консервативные оппоненты вскоре продемонстрировали свои возможности. В оппозиции они, как выразился один российский обозреватель, «обрели второе дыхание». В 1993 г. ими была создана Коммунистическая партия Российской Федерации, быстро превратившаяся в крупнейшую и наиболее популярную у избирателей партию в постсоветской России. К 1996 г. коммунисты правили многими российскими городами и областями, имели много больше своих представителей в парламенте, чем любая другая партия, и во время президентской кампании официально набрали 40% голосов (а по мнению некоторых аналитиков, даже больше) против Ельцина, который так и не сумел сформировать массовую партию. И до 2003 г. процент набранных коммунистами голосов неуклонно рос от выборов к выборам. Все это говорит о том, что если судить о реформируемости старой советской Коммунистической партии по ее избирательным возможностям, оба ее крыла были реформируемы.

Рассмотрим теперь два других главных компонента советской системы — государственную экономику и Союз. При внимательном изучении специальной литературы, в ней невозможно найти ни одного реального подтверждения того, что советская экономика была нереформируемой. Существует общая, почти единодушная уверенность в том, что экономические реформы Горбачева «полностью провалились», но даже если это так, это относится к его руководству и политике, но не к самой экономической системе. Многие западные специалисты не только допускали, что советская экономика могла быть реформирована, но и предлагали свои собственные рецепты преобразований. Утверждения о нереформируемости были еще одной позднейшей выдумкой российских политиков (и их западных покровителей), решивших нанести фронтальный удар по старой системе с помощью «шоковой терапии».

И снова мы должны обратиться к понятию «реформа». Если оно означало, в данном случае, переход к полностью приватизированной и стопроцентно рыночной капиталистической экономике, то тогда советская экономическая система, конечно, была нереформируемой; ее можно было только полностью заменить. Некоторые самозванные западные советники еще в 1991 г. настаивали на необходимости сделать это и потом не могли простить Горбачеву, что он к ним не прислушался. Но среди советских политиков и политических аналитиков, включая радикальных реформаторов, в то время было очень мало сторонников такой идеи. Подавляющему большинству из них гораздо ближе была цель, провозглашенная Горбачевым и неоднократно и настойчиво (к 1990 г.) им повторяемая: «смешанная экономика» с «регулируемым», но при этом «современным полнокровным рынком», которая предоставила бы «экономическую свободу» гражданам и «равные права» всем формам собственности, но по-прежнему могла называться социалистической.

Предложенная Горбачевым идея смешанной экономики стала предметом многочисленных насмешек на Западе. Замечания типа сделанного Ельциным, о том, что советский лидер хочет соединить несоединимое, или, как выразился один западный историк, «скрестить кролика с ослом», вызывали аплодисменты. Но это тоже было несправедливо. Все современные капиталистические экономики были и остаются в разной степени смешанными и регулируемыми, сочетающими в себе частную и государственную собственность, рыночные и нерыночные методы регулирования, соотношение которых со временем неоднократно меняется. Ни в одной из них никогда не было действительно полностью «свободного рынка», идею которого проповедуют их идеологи. Кроме того, сочетание в экономике крупных государственного и частного секторов было традиционным для

России — как царской, так и советской, за исключением периода после окончания НЭПа в 1929 г.

С политической и экономической точки зрения, внедрение «капиталистических» элементов в реформированную советскую систему было более трудным делом, чем привнесение «социалистических», скажем, в американскую экономику 1930-х гг. Но серьезных причин, по которым рыночные элементы — частные фирмы, банки, сервисные предприятия, магазины и сельскохозяйственные фермы (наряду с государственными и коллективными), — не могли быть добавлены к советской экономике и получить возможности для развития и конкуренции, не было. В коммунистических странах Восточной Европы и Китае нечто подобное произошло в условиях куда больших политических ограничений. Нужно было только твердо следовать горбачевскому принципу постепенности и решительного отказа навязывать людям образ жизни, пусть даже реформированной жизни. Причины, по которым этого не произошло в советской или постсоветской России, были в первую очередь политическими, а не экономическими, — как и причины растущего экономического кризиса, охватившего страну в 1990-91 гг.

Мы должны также задаться вопросом, действительно ли экономические реформы Горбачева «полностью провалились», поскольку это означало бы, что советская экономика не отреагировала на его инициативы. Как и во многих других случаях, это утверждение также является результатом ретроспективного взгляда. Даже в 1990 г., когда уже было очевидно, что политика Горбачева породила грозный букет обстоятельств: растущий бюджетный дефицит, растущая инфляция, растущий недостаток потребительских товаров и растущее падение производства, — некоторые западные экономисты, тем не менее, полагали, что он движется в правильном направлении.

Если экономическая реформа есть «переход», состоящий из нескольких обязательных этапов, то Горбачев к 1990 г. запустил весь этот процесс в нескольких важных отношениях. Он добился принятия почти всего необходимого для всесторонней экономической реформы законодательства. Он привил значительной части советской элиты рыночное мышление, причем настолько крепко, что даже самый главный неосталинист на российских президентских выборах 1991 г. признал: «Только сумасшедший сегодня может отрицать необходимость рыночных отношений». Более того, развенчивая старые идеологические догмы, узаконивая частные предприятия и собственность, а значит, рыночные отношения и лично приветствуя «живое и честное соревнование» всех форм собственности, Горбачев в значительной степени освободил экономику от тисков запретов и ограниче-

ний, которыми ее сковал партийный аппарат. И, как непосредственный результат этих перемен, начались процессы маркетизации, приватизации и коммерциализации советской экономики.

Последним следует уделить особое внимание, так как сегодня их почти всегда связывают с Ельциным и постсоветской Россией. К 1990 г. количество частных предприятий, называемых кооперативами, уже насчитывало 200 тысяч, на них работало почти 5 млн. чел., и они давали от 5% до 6% валового национального продукта. Вне зависимости от результатов, шел реальный процесс приватизации государственной собственности номенклатурными чиновниками и другими частными лицами. Во многих городах открывались коммерческие банки; возникли первые биржи. Параллельно с рыночными структурами формировались и новые бизнес- и финансовые элиты, включая будущий «Клуб молодых миллионеров». В середине 1991 г. один американский корреспондент подготовил и опубликовал целую серию репортажей о «советском капитализме». Западные эксперты могут считать политику Горбачева неудавшимися полумерами, но некоторые российские экономисты по прошествии лет убедились: «Именно в годы его пребывания у власти зародились все основные формы экономической деятельности в современной России». И, что еще более важно, они родились внутри советской экономики, что явилось свидетельством ее реформируемости.

Последний вопрос касается крупнейшего и наиболее существенного компонента старой советской системы — Союза, или собственно многонационального государства. Горбачев не сразу осознал, что его политические и экономические преобразования могут негативно сказываться на способности Москвы удерживать вместе пятнадцать республик, но к 1990 г. он был уверен, что от судьбы Союза будут зависеть и результат всех его реформ, и его собственная судьба. За два последних года у власти он превратился в фигуру, подобную Линкольну: он так же был полон решимости «сохранить Союз», — но, в его случае, не силой, а переговорами добиваясь превращения дискредитировавшего себя «суперцентрализованного унитарного государства» в настоящую добровольную федерацию. Когда в декабре 1991 г. Советский Союз закончил свое существование, а входившие в него республики стали самостоятельными и независимыми государствами, это означало и конец эволюционных преобразований Горбачева под названием «перестройка».

Можно ли было реформировать Союз, как утверждали Горбачев и многие российские политики и интеллектуалы как до, так и после 1991 г.? Западная литература по этому «вопросу вопросов» находится под влиянием двух предвзятых точек зрения. Антисоветизм, присущий большинству

западных, особенно американских, оценок, заставляет их поверить (независимо от степени «склонности к запоздалым суждениям») в то, что Советский Союз как государство был обречен. Другая предвзятость, возможно, ненарочитая, опять-таки связана с языком, или формулировками. Почти всегда говорится (возможно, по скрытой аналогии с концом царской России в 1917 г.), что Союз потерпел «крах» или «распался» — термины, подразумевающие наличие внутренних причин, неизбежно ведущих к такому результату и, тем самым, практически исключающих возможность реформирования Советского государства. Но если сформулировать вопрос по-другому: как и почему Союз был отменен, распущен или попросту закончился, — мы получим возможность допустить, что основной причиной могла оказаться случайность или какие-то субъективные факторы, и, следовательно, был возможен иной исход.

Расхожий западный тезис о том, что Союз нельзя было реформировать, в значительной степени базируется на одном растущем заблуждении. Оно предполагает, что общенациональный партийный аппарат, с его вертикальной организационной структурой и принципом безоговорочного подчинения нижестоящих органов вышестоящим, «один только удерживал союзную федерацию вместе». А поскольку партия-диктатор в результате горбачевских реформ утратила почву под ногами, не осталось сплывающих факторов, которые бы противостоять центробежным силам, и поэтому «распад Советского Союза был неизбежен». Короче говоря, «нет партии — нет Союза».

Конечно, роль компартии не стоит преуменьшать, но были и другие факторы, поддерживавшие единство Союза, в том числе другие советские структуры. В частности, союзные экономические министерства, разместившиеся в Москве и имевшие подразделения по всей стране, во многих отношениях, были таким же важным фактором, как и партийные организации. Не следует также недооценивать объединяющую роль общесоюзных военных структур с их дисциплиной и собственными методами ассимиляции. Еще более важное значение имела сама общесоюзная экономика. За многие десятилетия экономики пятнадцати республик стали, по сути, единым организмом, поскольку совместно использовали и зависели от одних и тех же естественных ресурсов, топливных и энергетических сетей, транспортной системы, поставщиков, производителей, потребителей и источников финансирования. В итоге, по общему признанию, сложилось «единое советское экономическое пространство».

Человеческий фактор также не следует сбрасывать со счетов. Официальные лозунги, прославлявшие «советский народ» как единую нацию, преувеличивали, но они, как заверяют серьезные источники, не были прос-

то «идеологическим артефактом». Хотя в состав Советского Союза входили десятки и сотни различных этнических групп, миллионы людей состояли в смешанных браках, и примерно 75 миллионов граждан — около трети населения — проживали за пределами своих этнических территорий, из них 25 миллионов русских. Объединяющим фактором служил и совместный исторический опыт, такой как тяжесть потерь и радость победы во Второй мировой, или, в интерпретации Москвы, Великой Отечественной войне. Более 60% нерусского населения Союза бегло говорило по-русски, а большинство остальных имели представление о русском языке и культуре благодаря единой образовательной системе и союзным средствам массовой информации.

При условии правильной политики реформ и наличии других необходимых обстоятельств, этих многочисленных интеграционных элементов вкупе с привычкой жить вместе с Россией, сложившейся до и после 1917 г., хватило бы, чтобы и без диктатуры КПСС сохранить единство большей части Союза. Даже без учета других последствий, десятки миллионов советских граждан многое теряли в случае распада Союза. Понимание этого, без сомнения, помогает объяснить результат мартовского референдума 1991 г., представлявший собой, по определению одного американского специалиста, «голосование подавляющим большинством за Союз».

Следует признать, что добровольная федерация, предложенная Горбачевым вместо СССР, объединила бы меньше 14 нерусских республик. Горбачев надеялся, что будет иначе, но, тем не менее, признал возможность такого хода событий, подтверждением чему стал принятый в апреле 1990 г. закон о выходе из СССР. Почти наверняка предпочитали вернуться к независимости небольшие балтийские республики Литва, Латвия и Эстония, аннексированные в 1940 г. сталинской Красной Армией, а Западная Молдавия пожелала воссоединиться с Румынией (правда, после 1991 г. она изменила свое решение). Выйти также могли бы одна-две из трех закавказских республик — в зависимости от того, стали бы вечные враги Армения или Азербайджан искать у России защиты друг против друга, и понадобилась бы Грузии помощь Москвы в сохранении единства ее собственного полиэтнического государства.

Но даже если так, все эти небольшие республики находились на советской периферии, и их выход не стал бы слишком заметным, поскольку на оставшиеся 8-10 приходилось 90% территории, населения и ресурсов бывшего Союза. Этого было более чем достаточно, чтобы сформировать новый жизнеспособный Советский Союз. Хватило бы даже нескольких республик, объединившихся вокруг России. Как сказал один из национальных лидеров, принимавший участие в отмене СССР несколькими месяцами позже, новый Союз мог бы «состоять из четырех республик».

Каким бы «просоюзным» ни было мнение подавляющего большинства населения, после весны 1990 г., когда в результате состоявшихся региональных выборов значительная часть власти перешла от Москвы к регионам, судьбу республик уже решали их лидеры и элиты. Существует объективное свидетельство в поддержку того факта, что большинство из них желало сохранить Союз. Свою позицию они ясно продемонстрировали во время переговоров о новом Союзном договоре, начатых Горбачевым с лидерами девяти советских республик: России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении, — в апреле 1991 г.

Результатом переговоров, известных как «новоогаревский процесс», стало соглашение о создании нового Союза Советских Суверенных Республик. Под договором, официальное подписание которого было намечено на 20 августа 1991 г., поставили свои инициалы все девять республиканских лидеров, в том числе те трое, которые всего несколько месяцев спустя отменили Союз — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. Горбачев был вынужден уступить республикам больше власти, чем он хотел, но общесоюзное государство, выборный президент и парламент, а также вооруженные силы и экономика в Договоре сохранились. Все было продумано до конца: за церемонией подписания Договора должны были последовать новая Конституция и выборы, даже споры вокруг того, кто где должен сидеть во время церемонии подписания, были благополучно разрешены и согласие по поводу специальной бумаги для текста и памятных марок достигнуто.

Все это говорит о том, что распространенный аргумент, будто провал новоогаревской попытки спасти Союз доказал его неререформируемость, не имеет смысла. Переговоры были успешными; они проходили, как и другие реформы Горбачева, в рамках советской системы, имели легитимный статус и полномочия, делегированные им народным выбором на референдуме в марте, и велись признанным многонациональным руководством большей части страны. «Новоогаревский процесс» нужно рассматривать как разновидность «консенсуса элит» или пример «договорной практики», столь необходимой, по мнению многих политологов, для успешной демократической реформы политической системы. Даже известный демократический политик из окружения Ельцина предвосхищал, что подписание Договора станет «историческим событием», которое будет жить так же долго, как американская Декларация независимости, и служить такой же надежной политической и правовой базой обновленного Союза.

Иными словами, Договор не состоялся не потому, что Союз был неререформируемым, а потому, что небольшая группа высокопоставленных

чиновников в Москве организовала 19 августа вооруженный переворот с целью помешать его успешной реформе. (Да и сам вооруженный переворот не был неизбежным, но это уже другая история.) Хотя сам путч быстро провалился, и, прежде всего, потому что его руководителям не хватило решимости использовать военную силу, которую они стянули в Москву, его последствия нанесли тяжелый удар по «новоогаревскому процессу». Они существенно ослабили Горбачева и его центральное правительство, усилили политические амбиции Ельцина и Кравчука и заставили других республиканских лидеров опасаться непредсказуемого поведения Москвы.

На самом деле, даже провалившийся, но имевший губительные последствия августовский путч не погасил ни политического импульса, направленного на сохранение Союза, ни ожиданий ведущих советских реформаторов на то, что он может быть сохранен. В начале сентября около 1900 депутатов от 12 союзных республик возобновили участие в сессии внеочередного Съезда народных депутатов СССР (5 сентября после фактического самороспуска Съезда вся полнота власти перешла к Госсовету. Прим. ред.). В октябре было подписано соглашение о новом экономическом союзе. Ельцин еще в ноябре 1991 г. заверял публику: «Союзу быть!». Семь республик, включая Россию — большинство, если не считать ставшие независимыми балтийские республики — продолжали переговоры с Президентом Горбачевым, и 25 ноября была, похоже, достигнута договоренность о новом Союзном договоре. Он был больше конфедеративным, чем федеративным, но все еще предусматривал союзное государство, президентство, парламент, экономику и армию. Две недели спустя, он также пал жертвой переворота, осуществленного на сей раз даже меньшим числом заговорщиков, но куда более решительно и успешно.

Вывод, который нельзя не сделать, заключается в том, что для утверждения о неререформируемости советской системы не было ни концептуальных, которых мы так и не нашли, ни эмпирических оснований. Как показывают заново проанализированные здесь исторические события и факты, к 1991 г. большая часть системы была охвачена процессом глубоких демократических и рыночных преобразований. Конечно, Советский Союз при Горбачеве не был полностью реформирован, но он находился в состоянии «перехода» — термин, обычно приберегаемый для характеристики постсоветского периода. Все, что остается от «аксиомы неререформируемости», это беспелляционный вывод, что поскольку реформы Горбачева всеми были признаны просоветскими и просоциалистическими, они были не более чем «фантазией» или «химерой». Это идеологическое предубеждение, не имеющее ничего общего с историческим анализом.

Почему же, вопреки многолетним заверениям многочисленных специалистов, система оказалась замечательно реформируемой? Было ли в этом действительно некое «политическое чудо», как написал впоследствии один американский историк? Для объяснения этого необходимо учесть такие немаловажные факторы, как длительное воздействие идей антисталинизма, уходящего корнями в 1920-е и даже в 1917 г.; политическое наследие Никиты Хрущева, в том числе зарождение в недрах КПСС протореформенной партии; растущая открытость советской элиты по отношению к Западу, расширявшая ее представления об альтернативных путях развития (как социалистического, так и капиталистического); глубокие изменения в обществе, десталинизовавшие систему снизу; рост социально-экономических проблем, стимулировавший прореформенные настроения среди номенклатурной верхушки, и, наконец, незаурядное во всех отношениях руководство самого Горбачева, которое не стоит недооценивать. Однако был еще один, не менее значимый, фактор.

Большинство западных специалистов долгое время было убеждено, что базовые институты советской системы были чересчур «тоталитарными» или иначе устроенными, чтобы быть способными к фундаментальному реформированию. На самом деле, в системе с самого начала была заложена двойственность, делавшая ее потенциально реформируемой и даже готовой к реформам. С формальной точки зрения, в ней присутствовали все или почти все институты представительной демократии: конституция, предусматривавшая гражданские свободы, законодательные органы, выборы, органы правосудия, федерация. Но внутри каждого из этих компонентов или наряду с ними присутствовали «противовесы», сводившие на нет их демократическое содержание. Наиболее важными из них были политическая монополия Коммунистической партии, безальтернативное голосование, цензура и полицейские репрессии. Все, что требовалось, чтобы начать процесс демократических реформ, это желание и умение устранить эти противовесы.

Горбачев, как и его ближайшие помощники, осознавал эту двойственность, которую он характеризовал как «демократические принципы на словах и авторитарность на деле». Для того чтобы демократизировать систему, отмечал он позднее, «не пришлось ничего придумывать», только, по словам одного его советника, превратить демократические компоненты «из декорации в реальность». Это относилось почти ко всем горбачевским реформам, но самым выдающимся примером была, как он подчеркивал, «передача власти из рук монополично владевшей ею Коммунистической партии в руки тех, кому она должна была принадлежать по Конституции, — Советам через свободные выборы». Но двойственность

институтов советской системы не только делала ее в высшей степени реформируемой, без нее, скорее всего, невозможна была бы мирная демократизация и другие преобразования эпохи Горбачева, во всяком случае, они не были бы столь стремительными и исторически значимыми.

И, наконец, последнее, на что следует обратить внимание, но невозможно рассмотреть здесь. Если аргументация, представленная в этой статье, достаточно убедительна, она ставит под сомнение и большинство расхожих трактовок конца Советского Союза, так или иначе предполагающих, что он был нерформируемым. Но это еще более широкий и спорный вопрос, только ждущий своего рассмотрения.

Перевод с английского Ирины ДАВИДЯН

¹ Статья печатается в специально подготовленной для сборника сокращенной версии (опущен, в частности, обширный справочный аппарат). Полный текст, включая ссылки и примечания, см.: на англ. языке — «Slavic Review». Vol. 63. № 3. Fall 2004. P. 459-488; на русском языке — в Серии «АИРО-XX — Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 16. М., 2005. — 64 с.